

ЭРОТИЧЕСКИЕ

рассказы

*русских
писателей*



18⁺

Эротическая литература

Лев Толстой

**Эротические рассказы
русских писателей**

«Издательство АСТ»

2026

УДК 821.161.1-993
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Толстой Л. Н.

Эротические рассказы русских писателей / Л. Н. Толстой —
«Издательство АСТ», 2026 — (Эротическая литература)

ISBN 978-5-17-189857-1

В книге собраны редкие и искренние произведения, раскрывающие грани человеческих страстей и интимных переживаний русских классиков. Эти тексты – не только окно в мир запретных желаний, но и часть богатой культурной традиции, где искусство слова переплетается с тайнами человеческой души. Погрузитесь в чувственную атмосферу эпохи, ищущую баланс между нравственностью и страстью, и откройте для себя новые грани русской литературной классики.

УДК 821.161.1-993
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-189857-1

© Толстой Л. Н., 2026
© Издательство АСТ, 2026

Содержание

Лев Толстой	6
Дьявол	6
Дьявол	9
Антон Чехов	11
О любви	11
Несчастье	16
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Эротические рассказы русских писателей

Составление Олеси Молевой



Серия «Эротическая литература»

Авторы

*Антон Чехов,
Валерий Брюсов,
Зинаида Гиппиус,
Иван Бунин,
Лев Толстой,
Леонид Андреев,
Максим Горький,
Теффи (Надежда Лохвицкая),
Федор Сологуб*

В оформлении переплёта использовано изображение картины Вильяма Бугро. «Нимфы и сатир» (1873, Институт искусств Стерлинга и Франсин Кларк, Уильямстаун).



© ООО «Издательство АСТ», 2026

Лев Толстой

Дьявол (отрывок)

III

Но решить дело самому с собой было одно, привести же его в исполнение было другое. Самому подойти к женщине невозможно. К какой? где? Надо через кого-нибудь, но к кому обратиться?

Случилось ему раз зайти напиться в лесную караулку. Сторожем был бывший охотник отца. Евгений Иванович разговорился с ним, и сторож стал рассказывать старинные истории про кутежи на охоте. И Евгению Ивановичу пришло в голову, что хорошо бы было здесь, в караулке или в лесу, устроить это. Он только не знал как, и возьмётся ли за это старый Данила. «Может-быть, он ужаснётся от такого предложения, и я осрамлюсь, а может, очень просто согласится». Так он думал, слушая рассказы Данилы. Данила рассказывал, как они стояли в отъезжем поле у дьячихи, и как Пряничникову он привёл бабу.

«Можно», подумал Евгений.

– Ваш батюшка, царство небесное, этими глупостями не занимался.

«Нельзя», подумал Евгений, но, чтобы исследовать, сказал:

– Как же ты такими делами нехорошими занимался?

– А что же тут худого? И она рада и мой Федор Захарыч довольны-предовольны. Мне рубль. Ведь как же и быть ему-то? Тоже живая кость. Чай вино пьёт.

«Да, можно сказать», подумал Евгений и тотчас же приступил.

– А знаешь, – он почувствовал, как он багрово покраснел, – знаешь, Данила, я измучался. – Данила улыбнулся. – Я всё-таки не монах – привык.

Он чувствовал, что глупо всё, что он говорит, но радовался, потому что Данила одобрял.

– Что ж, вы бы давно сказали, это можно, – сказал он. – Вы только скажите какую.

– Ах, право, мне всё равно. Ну, разумеется, чтоб не безобразная была и здоровая.

– Понял! – откусил Данила. Он подумал. – Ох, хороша штучка есть, – начал он. Опять Евгений покраснел. – Хороша штучка. Изволите видеть, выдали её по осени, – Данила стал шептать, – а он ничего не может сделать. Ведь это на охотника что стоит.

Евгений сморщился даже от стыда.

– Нет, нет, – заговорил он. – Мне совсем не то нужно. Мне, напротив (что могло быть напротив?), мне, напротив, надо, чтобы только здоровая, да поменьше хлопот – солдатка или эдак...

– Знаю. Это, значит, Степаниду вам предоставить. Муж в городе, всё равно как солдатка. А бабочка хорошая, чистая. Будете довольны. Я и то ей намесь говорю – пойди, а она...

– Ну, так когда же?

– Да хоть завтра. Я вот пойду за табаком и зайду, а в обед приходите сюда али за огород к бане. Никого нет. Да и в обед весь народ спит.

– Ну, хорошо.

Страшное волнение охватило Евгения, когда он поехал домой. «Что такое будет? Что такое крестьянка? Что-нибудь вдруг безобразное, ужасное. Нет, они красивы, – говорил он себе, вспоминая тех, на которых он заглядывался. – Но что я скажу, что я сделаю?»

Целый день он был не свой. На другой день в 12 часов он пошёл к караулке. Данила стоял в дверях и молча значительно кивнул головой к лесу. Кровь прилила к сердцу Евгения, он почувствовал его и пошёл к огороду. Никого. Подошёл к бане. Никого. Заглянул туда, вышел и вдруг услышал треск сломленной ветки. Он оглянулся, она стояла в чаще за оврачком. Он бросился туда через овраг. В овраге была крапива, которой он не заметил. Он острекался и, потеряв с носу пенснэ, вбежал на противоположный бугор. В белой вышитой занавеске, красной бурой паневе, красном ярком платке, с босыми ногами, свежая, твёрдая, красивая, она стояла и робко улыбалась.

– Тут кругом тропочка, обошли бы, – сказала она. – А мы давно. Голомя.

Он подошёл к ней и, оглядываясь, коснулся её.

Через четверть часа они разошлись, он нашёл пенснэ и зашёл к Даниле и в ответ на вопрос его: «довольны ль, барин?» – дал ему рубль и пошёл домой.

Он был доволен. Стыд был только сначала. Но потом прошёл. И всё было хорошо. Главное, хорошо, что ему теперь легко, спокойно, бодро. – её он хорошенько даже не рассмотрел. Помнил, что чистая, свежая, недурная и простая, без гримас. «Чья, бишь, она? – говорил он себе. – Печникова он сказал? Какая же это Печникова?»¹ Ведь их два двора. Должно быть, Михайлы старика сноха. Да, верно его. У него ведь сын живет в Москве, спрошу у Данилы когда-нибудь».

С этих пор устранилась эта важная прежде неприятность деревенской жизни – невольное воздержание. Свобода мысли Евгения уже не нарушалась, и он мог свободно заниматься своими делами.

А дело, которое взял на себя Евгений, было очень нелёгкое: иногда ему казалось, что он не выдержит, и кончится тем, что всё-таки придётся продать имение, все труды его пропадут, и, главное, что окажется, что не выдержал, не сумел доделать того, за что взялся. Это больше всего тревожило его. Не успевал он заткнуть кое-как одной дыры, как раскрывалась новая, неожиданная.

Во всё это время всё оказывались новые и новые неизвестные прежде долги отца. Видно было, что отец в последнее время брал где попало. Во время раздела в мае Евгений думал, что он знает наконец всё. Но вдруг в середине лета он получил письмо, из которого оказывалось, что был ещё долг вдове Есиповой в 12 тысяч. Векселя не было, была простая расписка, которую можно было, по словам поверенного, оспаривать. Но Евгению и в голову не могло придти отказаться от уплаты действительного долга отца только потому, что можно было оспаривать документ. – Ему надо было узнать только наверное, действительный ли это был долг.

– Мама! что такое Есипова Калерия Владимировна? – спросил он у матери, когда они по обыкновению сошлись за обедом.

– Есипова? Да это воспитанница бабушки. А что?

Евгений рассказал матери про письмо.

– Удивляюсь, как ей не совестно. Твой папа ей сколько передавал.

– Но должны мы ей?

– Т. е. как тебе сказать? Долгу нет, папа по своей бесконечной доброте...

– Да, но папа считал это долгом.

– Не могу я тебе сказать. Не знаю. Знаю, что тебе и так тяжело.

Евгений видел, что Марья Павловна сама не знала, как сказать, и как бы выпытывала его.

– Из этого я вижу, что надо платить, – сказал сын. – Я завтра поеду к ней и поговорю, нельзя ли отсрочить.

– Ах, как мне жалко тебя. Но, знаешь, лучше. Ты ей скажи, что она должна подождать, – говорила Марья Павловна, очевидно успокоенная и гордая решением сына.

¹ * В дальнейшем вместо фамилии Печников – фамилия Пчельников. – *Примеч. ред.*

Положение Евгения было особенно трудно оттого ещё, что мать, жившая с ним, совсем не понимала его положения. Она всю жизнь привыкла жить так широко, что не могла представить себе даже того положения, в котором был сын, т. е. того, что нынче-завтра дела могли устроиться так, что у них ничего не останется, и сыну придётся всё продать и жить и содержать мать одной службой, которая в его положении могла ему дать много-много 2000 рублей. Она не понимала, что спастись от этого положения можно только урезкой расходов во всем, и потому не могла понять, зачем Евгений так стеснялся в мелочах, в расходах на садовников, кучеров, на прислугу и стол даже. Кроме того, как большинство вдов, она питала к памяти покойника чувства благоговения, далеко не похожие на те, которые она имела к нему, пока он был жив, и не допускала мысли о том, что то, что делал или завёл покойник, могло быть худо и изменено.

Евгений поддерживал с большим напряжением и сад, и оранжерею с двумя садовниками, и конюшню с двумя кучерами. Марья же Павловна наивно думала, что, не жалуясь на стол, который готовил старик повар, и на то, что дорожки в парке не все были чищены, и что вместо лакеев был один мальчик, что она делает всё, что может мать, жертвующая собой для своего сына. – Так и в этом новом долге, в котором Евгений видел для себя почти что добивающий удар всем его предприятиям, Мария Павловна видела только случай, выказавший благородство Евгения. Марья Павловна не беспокоилась очень о материальном положении Евгения ещё и потому, что она была уверена, что он сделает блестящую партию, которая поправит всё. Партию же он мог сделать самую блестящую. Она знала десяток семей, которые счастливы были отдать за него дочь. И она желала как можно скорее устроить это.

Дьявол (отрывок)

XV

Большую часть времени Евгений проводил у постели жены, служил ей, говорил с ней, читал с ней и, что было труднее всего, без ропота переносил нападки Варвары Алексеевны и даже сумел из этих нападок сделать предмет шутки.

Но он не мог сидеть дома. Во-первых, жена посылала его, говоря, что он заболел, если будет сидеть всё с нею, а во-вторых, хозяйство всё шло так, что на каждом шагу требовало его присутствия. Он не мог сидеть дома, а был в поле, в лесу, в саду, на гумне, и везде не мысль только, а живой образ Степаниды преследовал его так, что он редко только забывал про неё. Но это было бы ничего; он, может быть, сумел бы преодолеть это чувство, но хуже всего было то, что он прежде жил месяцами не видя её, теперь же беспрестанно видел и встречал её. Она, очевидно, поняла, что он хочет возобновить сношения с нею, и старалась попадаться ему. Ни им ни ею не было сказано ничего, и оттого и он и она не шли прямо на свиданье, а старались только сходиться.

Место, где можно было сойтись, это был лес, куда бабы ходили с мешками за травой для коров. И Евгений знал это и потому каждый день проходил мимо этого леса. Каждый день он говорил себе, что он не пойдёт, и каждый день кончалось тем, что он направлялся к лесу и, услышав звук голосов, останавливаясь за кустом, с замиранием сердца выглядывал, не она ли это.

Зачем ему нужно было знать, не она ли это? Он не знал. Если бы это была она и одна, он не пошёл бы к ней, – так он думал, – он убежал бы; но ему нужно было видеть её. Один раз он встретил её: в то время как он входил в лес, она выходила из него с другими двумя бабами и тяжёлым мешком, полным травы, на спине. Немного раньше и он бы, может быть, столкнулся с нею в лесу. Теперь же ей невозможно было на виду других баб вернуться к нему в лес. Но, несмотря на создаваемую им эту невозможность, он долго, рискуя обратить этим на себя внимание других баб, стоял за кустом орешника. Разумеется, она не вернулась, но он простоял здесь долго. И, Боже мой, с какой прелестью рисовало ему её его воображение. И это было не один раз, а пятый, шестой раз. И что дальше, то сильнее. Никогда она так привлекательна не казалась ему. Да и не то что привлекательна; никогда она так вполне не владела им.

Он чувствовал, что терял волю над собой, становился почти помешанным. Строгость его к себе не ослаблялась ни на волос; напротив, он видел всю мерзость своих желаний, даже поступков, потому что хождение его по лесу был поступок. Он знал, что стоило ему столкнуться с ней где-нибудь близко, в темноте, если бы можно, прикоснуться к ней, и он отдастся своему чувству. Он знал, что только стыд перед людьми, перед ней и перед собой держал его. И он знал, что он искал условий, в которых бы не был замечен этот стыд – темноты или такого прикосновения, при котором стыд этот заглушится животной страстью. И потому он знал, что он мерзкий преступник, и презирал и ненавидел себя всеми силами души. Он ненавидел себя потому, что всё ещё не сдавался. Каждый день он молился Богу о том, чтобы Он подкрепил, спас его от гибели, каждый день он решал, что отныне он не сделает ни одного шага, не оглянется на неё, забудет её. Каждый день он придумывал средства, чтобы избавиться от этого наваждения, и употреблял эти средства.

Но всё было напрасно.

Одно из средств было постоянное занятие; другое было усиленная физическая работа и пост; третье было представление себе ясное того стыда, который обрушится на его голову, когда все узнают это – жена, теща, люди. Он всё это делал, и ему казалось, что он побеждает, но приходило время, полдень, время прежних свиданий и время, когда он её встретил за травой, и он шёл в лес.

Так прошли мучительные 5 дней. Он только видал её издалека, но ни разу не сошёлся с нею.

Антон Чехов

О любви

На другой день к завтраку подавали очень вкусные пирожки, раков и бараньи котлеты; и пока ели, приходил наверх повар Никанор справиться, что гости желают к обеду. Это был человек среднего роста, с пухлым лицом и маленькими глазами, бритый, и казалось, что усы у него были не бриты, а выщипаны. Алехин рассказал, что красивая Пелагея была влюблена в этого повара. Так как он был пьяница и буйного нрава, то она не хотела за него замуж, но соглашалась жить так. Он же был очень набожен, и религиозные убеждения не позволяли ему жить так; он требовал, чтобы она шла за него, и иначе не хотел, и бранил её, когда бывал пьян, и даже бил. Когда он бывал пьян, она пряталась наверху и рыдала, и тогда Алехин и прислуга не уходили из дому, чтобы защитить её в случае надобности. Стали говорить о любви.

– Как зарождается любовь, – сказал Алехин, – почему Пелагея не полюбила кого-нибудь другого, более подходящего к ней по её душевным и внешним качествам, а полюбила именно Никанора, этого мурло, – тут у нас все зовут его мурлом, – поскольку в любви важны вопросы личного счастья – всё это неизвестно и обо всём этом можно трактовать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что «тайна сия велика есть», всё же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, которые так и оставались неразрешёнными. То объяснение, которое, казалось бы, годится для одного случая, уже не годится для десяти других, и самое лучшее, по-моему, – это объяснять каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщать. Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай.

– Совершенно верно, – согласился Буркин.

– Мы, русские, порядочные люди, питаем пристрастие к этим вопросам, остающимся без разрешения. Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают её розами, соловьями, мы же, русские, украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами, и притом выбираем из них самые неинтересные. В Москве, когда я ещё был студентом, у меня была подруга жизни, милая дама, которая всякий раз, когда я держал её в объятиях, думала о том, сколько я буду выдавать ей в месяц и почём теперь говядина за фунт. Так и мы, когда любим, то не перестаём задавать себе вопросы: честно это или нечестно, умно или глупо, к чему поведёт эта любовь и так далее. Хорошо это или нет, я не знаю, но что это мешает, не удовлетворяет, раздражает – это я знаю.

Было похоже, что он хочет что-то рассказать. У людей, живущих одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они охотно бы рассказали. В городе холостяки нарочно ходят в баню и в рестораны, чтобы только поговорить, и иногда рассказывают банщикам или официантам очень интересные истории, в деревне же обыкновенно они изливают душу перед своими гостями. Теперь в окна было видно серое небо и деревья, мокрые от дождя, в такую погоду некуда было деваться и ничего больше не оставалось, как только рассказывать и слушать.

– Я живу в Софьино и занимаюсь хозяйством уже давно, – начал Алехин, – с тех пор, как кончил в университете. По воспитанию я белоручка, по наклонностям – кабинетный человек, но на имении, когда я приехал сюда, был большой долг, а так как отец мой задолжал отчасти потому, что много тратил на моё образование, то я решил, что не уеду отсюда и буду работать, пока не уплачу этого долга. Я решил так и начал тут работать, признаюсь, не без некоторого отвращения. Здешняя земля даёт не много, и, чтобы сельское хозяйство было не в убыток, нужно пользоваться трудом крепостных или наёмных батраков, что почти одно и то же, или же вести своё хозяйство на крестьянский лад, то есть работать в поле самому, со своей семьёй. Середины тут нет. Но я тогда не вдавался в такие тонкости. Я не оставлял в покое ни одного

клочка земли, я сгонял всех мужиков и баб из соседних деревень, работа у меня тут кипела неистовая; я сам тоже пахал, сеял, косил и при этом скучал и брезгливо морщился, как деревенская кошка, которая с голоду ест на огороде огурцы; тело моё болело, и я спал на ходу. В первое время мне казалось, что эту рабочую жизнь я могу легко помирить со своими культурными привычками; для этого стоит только, думал я, держаться в жизни известного внешнего порядка. Я поселился тут наверху, в парадных комнатах, и завёл так, что после завтрака и обеда мне подавали кофе с ликёрами и, ложась спать, я читал на ночь «Вестник Европы». Но как-то пришёл наш батюшка, отец Иван, и в один присест выпил все мои ликёры; и «Вестник Европы» пошёл тоже к поповнам, так как летом, особенно во время покоса, я не успевал добраться до своей постели и засыпал в сарае в санях или где-нибудь в лесной сторожке – какое уж тут чтение? Я мало-помалу перебрался вниз, стал обедать в людской кухне, и из прежней роскоши у меня осталась только вся эта прислуга, которая ещё служила моему отцу и которую уволить мне было бы больно. В первые же годы меня здесь выбрали в почётные мировые судьи. Кое-когда приходилось наезжать в город и принимать участие в заседаниях съезда и окружного суда, и это меня развлекало. Когда поживёшь здесь безвыездно месяца два-три, особенно зимой, то в конце концов начинаешь тосковать по чёрному сюртуке. А в окружном суде были и сюртуки, и мундиры, и фраки, всё юристы, люди, получившие общее образование; было с кем поговорить. После спанья в санях, после людской кухни сидеть в кресле, в чистом белье, в лёгких ботинках, с цепью на груди – это такая роскошь! В городе меня принимали радушно, я охотно знакомился. И из всех знакомств самым основательным и, правду сказать, самым приятным для меня было знакомство с Лугановичем, товарищем председателя окружного суда. Его вы знаете оба: милейшая личность. Это было как раз после знаменитого дела поджигателей; разбирательство продолжалось два дня, мы были утомлены. Луганович посмотрел на меня и сказал:

– Знаете что? Пойдёмте ко мне обедать.

Это было неожиданно, так как с Лугановичем я был знаком мало, только официально, и ни разу у него не был. Я только на минутку зашёл к себе в номер, чтобы переодеться, и отправился на обед. И тут мне представился случай познакомиться с Анной Алексеевной, женой Лугановича. Тогда она была ещё очень молода, не старше двадцати двух лет, и за полгода до того у неё родился первый ребёнок. Дело прошлое, и теперь бы я затруднился определить, что, собственно, в ней было такого необыкновенного, что мне так понравилось в ней, тогда же за обедом для меня всё было неотразимо ясно; я видел женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную, женщину, какой я раньше никогда не встречал; и сразу я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое, точно это лицо, эти приветливые, умные глаза я видел уже когда-то в детстве, в альбоме, который лежал на комод у моей матери.

В деле поджигателей обвинили четырёх евреев, признали шайку и, по-моему, совсем неосновательно. За обедом я очень волновался, мне было тяжело, и уж не помню, что я говорил, только Анна Алексеевна всё покачивала головой и говорила мужу:

– Дмитрий, как же это так?

Луганович – это добряк, один из тех простодушных людей, которые крепко держатся мнения, что раз человек попал под суд, то, значит, он виноват, и что выражать сомнение в правильности приговора можно не иначе, как в законном порядке, на бумаге, но никак не за обедом и не в частном разговоре.

– Мы с вами не поджигали, – говорил он мягко, – и вот нас же не судят, не сажают в тюрьму.

И оба, муж и жена, старались, чтобы я побольше ел и пил; по некоторым мелочам, по тому, например, как оба они вместе варили кофе, и по тому, как они понимали друг друга с полуслов, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что они рады гостю. После обеда играли на рояле в четыре руки, потом стало темно, и я уехал к себе. Это было в начале

весны. Затем всё лето провёл я в Софьиной безвыездно, и было мне некогда даже подумать о городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни; я не думал о ней, но точно лёгкая тень её лежала на моей душе. Позднюю осень в городе был спектакль с благотворительной целью. Вхожу я в губернаторскую ложу (меня пригласили туда в антракте), смотрю – рядом с губернаторшей Анна Алексеевна, и опять то же самое неотразимое, быющее впечатление красоты и милых, ласковых глаз, и опять то же чувство близости.

Мы сидели рядом, потом ходили в фойе.

– Вы похудели, – сказала она. – Вы были больны?

– Да. У меня простужено плечо, и в дождливую погоду я дурно сплю.

– У вас вялый вид. Тогда, весной, когда вы приходили обедать, вы были моложе, бодрее. Вы тогда были воодушевлены и много говорили, были очень интересны, и, признаюсь, я даже увлеклась вами немножко. Почему-то часто в течение лета вы приходили мне на память и сегодня, когда я собиралась в театр, мне казалось, что я вас увижу.

И она засмеялась.

– Но сегодня у вас вялый вид, – повторила она. – Это вас старит.

На другой день я завтракал у Лугановичей; после завтрака они поехали к себе на дачу, чтобы распорядиться там насчёт зимы, и я с ними. С ними же вернулся в город и в полночь пил у них чай в тихой, семейной обстановке, когда горел камин и молодая мать всё уходила взглянуть, спит ли её девочка. И после этого в каждый свой приезд я непременно бывал у Лугановичей. Ко мне привыкли, и я привык. Обыкновенно входил я без доклада, как свой человек.

– Кто там? – слышался из дальних комнат протяжный голос, который казался мне таким прекрасным.

– Это Павел Константиныч, – отвечала горничная или няня.

Анна Алексеевна выходила ко мне с озабоченным лицом и всякий раз спрашивала:

– Почему вас так долго не было? Случилось что-нибудь?

Её взгляд, изящная, благородная рука, которую она подавала мне, её домашнее платье, причёска, голос, шаги всякий раз производили на меня всё то же впечатление чего-то нового, необыкновенного в моей жизни и важного. Мы беседовали подолгу и подолгу молчали, думая каждый о своём, или же она играла мне на рояле. Если же никого не было дома, то я оставался и ждал, разговаривал с няней, играл с ребёнком или же в кабинете лежал на турецком диване и читал газету, а когда Анна Алексеевна возвращалась, то я встречал её в передней, брал от неё все её покупки, и почему-то всякий раз эти покупки я нёс с такою любовью, с таким торжеством, точно мальчик.

Есть пословица: не было у бабы хлопот, так купила порося. Не было у Лугановичей хлопот, так подружился они со мной. Если я долго не приезжал в город, то, значит, я был болен или что-нибудь случилось со мной, и они оба сильно беспокоились. Они беспокоились, что я, образованный человек, знающий языки, вместо того, чтобы заниматься наукой или литературным трудом, живу в деревне, верчусь как белка в колесе, много работаю, но всегда без гроша. Им казалось, что я страдаю и если я говорю, смеюсь, ем, то только для того, чтобы скрыть свои страдания, и даже в весёлые минуты, когда мне было хорошо, я чувствовал на себе их пытливые взгляды. Они были особенно трогательны, когда мне в самом деле приходилось тяжело, когда меня притеснял какой-нибудь кредитор или не хватало денег для срочного платежа; оба, муж и жена, шептались у окна, потом он подходил ко мне и с серьёзным лицом говорил:

– Если вы, Павел Константиныч, в настоящее время нуждаетесь в деньгах, то я и жена просим вас не стесняться и взять у нас.

И уши краснели у него от волнения. А случалось, что точно так же, пошептавшись у окна, он подходил ко мне, с красными ушами, и говорил:

– Я и жена убедительно просим вас принять от нас вот этот подарок.

И подавал запонки, портсигар или лампу, и я за это присылал им из деревни битую птицу, масло и цветы. Кстати сказать, оба они были состоятельные люди. В первое время я часто брал займы и был не особенно разборчив, брал, где только возможно, но никакие силы не заставили бы меня взять у Лугановичей. Да что говорить об этом!

Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней, я старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины, которая выходит за неинтересного человека, почти за старика (мужу было больше сорока лет), имеет от него детей, – понять тайну этого неинтересного человека, добряка, простяка, который рассуждает с таким скучным здравомыслием, на балах и вечеринках держится около солидных людей, вялый, ненужный, с покорным, безучастным выражением, точно его привели сюда продавать, который верит, однако, в своё право быть счастливым, иметь от неё детей; и я всё старался понять, почему она встретила именно ему, а не мне, и для чего это нужно было, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка.

А приезжая в город, я всякий раз по её глазам видел, что она ждала меня; и она сама признавалась мне, что ещё с утра у неё было какое-то особенное чувство, она угадывала, что я приеду. Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали её робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею; мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвёт счастливое течение жизни её мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно ли это? Она пошла бы за мной, но куда? Куда бы я мог увести её? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если б я, например, боролся за освобождение родины или был знаменитым учёным, артистом, художником, а то ведь из одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь её в другую такую же или ещё более будничную. И как бы долго продолжалось наше счастье? Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти или просто если бы мы разлюбили друг друга?

И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила её мужа, как сына. Если б она отдалась своему чувству, то пришлось бы лгать или говорить правду, а в её положении то и другое было бы одинаково страшно и неудобно. И её мучил вопрос: принесёт ли мне счастье её любовь, не осложнит ли она моей жизни, и без того тяжёлой, полной всяких несчастий? Ей казалось, что она уже недостаточно молода для меня, недостаточно трудолюбива и энергична, чтобы начать новую жизнь, и она часто говорила с мужем о том, что мне нужно жениться на умной, достойной девушке, которая была бы хорошей хозяйкой, помощницей, – и тотчас же добавляла, что во всём городе едва ли найдётся такая девушка.

Между тем годы шли. У Анны Алексеевны было уже двое детей. Когда я приходил к Лугановичам, прислуга улыбалась приветливо, дети кричали, что пришёл дядя Павел Константиныч, и вешались мне на шею; все радовались. Не понимали, что делалось в моей душе, и думали, что я тоже радуюсь. Все видели во мне благородное существо. И взрослые и дети чувствовали, что по комнате ходит благородное существо, и это вносило в их отношения ко мне какую-то особую прелесть, точно в моем присутствии и их жизнь была чище и красивее. Я и Анна Алексеевна ходили вместе в театр, всякий раз пешком; мы сидели в креслах рядом, плечи наши касались, я молча брал из её рук бинокль и в это время чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга, но, по какому-то странному недоразумению, выйдя из театра, мы всякий раз прощались и расходились, как чужие. В городе уже говорили о нас бог знает что, но из всего, что говорили, не было ни одного слова правды. В последние годы Анна Алексеевна стала чаще уезжать то к матери, то к сестре; у неё уже бывало дурное настроение, являлось сознание неудовлетворённой, испорченной жизни, когда не хотелось видеть ни мужа, ни детей. Она уже лечилась от расстройства нервов.

Мы молчали и всё молчали, а при посторонних она испытывала какое-то странное раздражение против меня; о чём бы я ни говорил, она не соглашалась со мной, и если я спорил, то она принимала сторону моего противника. Когда я ронял что-нибудь, то она говорила холодно:

– Поздравляю вас.

Если, идя с ней в театр, я забывал взять бинокль, то потом она говорила:

– Я так и знала, что вы забудете.

К счастью или к несчастью, в нашей жизни не бывает ничего, что не кончалось бы рано или поздно. Наступило время разлуки, так как Лугановича назначили председателем в одной из западных губерний. Нужно было продавать мебель, лошадей, дачу. Когда ездили на дачу и потом возвращались и оглядывались, чтобы в последний раз взглянуть на сад, на зелёную крышу, то было всем грустно, и я понимал, что пришла пора прощаться не с одной только дачей. Было решено, что в конце августа мы проводим Анну Алексеевну в Крым, куда посылали её доктора, а немного погодя уедет Луганович с детьми в свою западную губернию.

Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. Когда она уже простилась с мужем и детьми и до третьего звонка оставалось одно мгновение, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из её корзинок, которую она едва не забыла; и нужно было проститься. Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял её, она прижалась лицом к моей груди, и слёзы потекли из глаз; целуя её лицо, плечи, руки, мокрые от слёз, – о, как мы были с ней несчастны! – я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было всё то, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе.

Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы расстались – навсегда. Поезд уже шёл. Я сел в соседнем купе, – оно было пусто, – и до первой станции сидел тут и плакал. Потом пошёл к себе в Софьино пешком...

Пока Алехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. Буркин и Иван Иванович вышли на балкон; отсюда был прекрасный вид на сад и на плёс, который теперь на солнце блестел, как зеркало. Они любовались и в то же время жалели, что этот человек с добрыми, умными глазами, который рассказывал им с таким чистосердечием, в самом деле вертелся здесь, в этом громадном имении, как белка в колесе, а не занимался наукой или чем-нибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной; и они думали о том, какое, должно быть, скорбное лицо было у молодой дамы, когда он прощался с ней в купе и целовал её лицо и плечи. Оба они встречали её в городе, а Буркин был даже знаком с ней и находил её красивой.

Несчастье

Софья Петровна, жена нотариуса Лубянцева, красивая молодая женщина, лет двадцати пяти, тихо шла по лесной просеке со своим соседом по даче, присяжным поверенным Ильиным. Был пятый час вечера. Над просекой сгустились белые, пушистые облака; из-под них кое-где проглядывали ярко-голубые клочки неба. Облака стояли неподвижно, точно зацепились за верхушки высоких, старых сосен. Было тихо и душно.

Вдали просека перерезывалась невысокой железнодорожной насыпью, по которой на этот раз шагал для чего-то часовой с ружьём. Тотчас же за насыпью белела большая шестиглавая церковь с поржавленной крышей...

– Я не ожидала встретиться здесь с вами, – говорила Софья Петровна, глядя в землю и трогая концом зонта прошлогодние листья, – и теперь рада, что встретилась. Мне нужно говорить с вами серьёзно и окончательно. Прошу вас, Иван Михайлович, если вы действительно любите меня и уважаете, то прекратите вы ваши преследования! Вы ходите за мной, как тень, вечно смотрите на меня нехорошими глазами, объясняетесь в любви, пишете странные письма и... и я не знаю, когда всё это кончится! Ну, к чему всё это поведёт, господи боже мой?

Ильин молчал. Софья Петровна прошла несколько шагов и продолжала:

– И эта резкая перемена произошла в вас в какие-нибудь две-три недели, после пятилетнего знакомства. Не узнаю вас, Иван Михайлович!

Софья Петровна искоса взглянула на своего спутника. Он внимательно, щуя глаза, глядел на пушистые облака. Выражение лица его было злое, капризное и рассеянное, как у человека, который страдает и в то же время обязан слушать вздор.

– Удивительно, как это вы сами не можете понять! – продолжала Лубянцева, пожав плечами. – Поймите, что вы затеваете не совсем красивую игру. Я замужем, люблю и уважаю своего мужа... у меня есть дочь... Неужели вы это ни во что не ставите? Кроме того, вам, как моему старинному приятелю, известен мой взгляд на семью... на семейные основы вообще...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.